

Для анализа прозы С. Довлатова выбраны два текста, в сюжетах которых отразились важные периоды в жизни автора — его служба в лагерной охране после призыва в армию и работа в Пушкинском заповеднике после конфликта с женой. Личные переживания, естественно, находят место на страницах произведений. Однако дневниковый характер этих текстов сочетается с продуманным, выстроенным сюжетом, с созданием образа лирического героя.

Говоря о лирическом начале, мы имеем в виду очевидный акцент в повествовании на личных эмоциях, на том, как все происходящее влияло на душевное и творческое состояние лирического героя.

Писатель вводит в текст жанровое определение «Зоны», сам характеризует и принцип организации материала, и лирического героя как формальный и содержательный стержень текста: «Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой...»

Казалось бы, лагерная реальность меньше всего располагает к лирическим заметкам и размышлениям. Вместе с тем в первом произведении Довлатова читатель обнаруживает целый ряд лирических мотивов — раздумья о смысле жизни, о понимании себя среди людей, о характере своей творческой деятельности.

Одна из структурных особенностей «Зоны» связана с включением писем к редактору, казалось бы, разрывающих сюжетное повествование, но в то же время именно на него работающих — уточняющих авторскую позицию, комментирующих текст: «...Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел. Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая».

Высказывая сомнение в правомерности подобных «дополнений» к тексту, автор не собирается от них отказываться: «Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все остальное — бесполезно?.. Посылаю вам очередные страницы».

Писателю важно обратить внимание не только на свой подход к материалу, но и на характер эмоций, и особенно на то, что происходило в сознании: именно

здесь истоки, основа, скрытый смысл мировосприятия, мироотношения, того, что составляет личность автора: «Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет. Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице... Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух. Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неустойчивого сознания».

Как и в тексте любого художника, в «Зоне» Довлатова лирическое начало проявляется в многочисленных вкраплениях картинок природного мира. Они, естественно, тоже получают дополнительную подсветку за счет сравнений и сопоставлений с миром зоны: «Рано утром солнце появлялось из-за барачков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой».

Особое впечатление создается ночью: «Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужающегося к горизонту леса»; «Ночью я спешу из штаба в казарму. Я шагаю мимо одинаковых барачков, мимо желтых лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство тишины и мороза»; «Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись».

Безусловный интерес представляют самохарактеристики лирического героя. В его взгляде на себя со стороны немного позы, сознательно обобщенная оценка «заурядной внешности», «заурядных перспектив». Характеристика строится в явной полемике с привычными анкетами: «Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже очень не любил читать. Мне нравилось кино и безделье. Три года в университете слабо повлияли на мою личность...»

Интересен и выбор героев, тех, кто вызывает не то чтобы симпатию, но своеобразное уважение, страх. Несомненную перекличку с личностью повествователя находим в характеристиках тех, кто способен противостоять, идти «против ветра».

Таким для лирического героя Довлатова (и, видимо, для него самого) был Купцов: «Как будто ветер навсегда избрал его своим противником. Куда бы ни шел он. Что бы ни делал...». Как ни странно, именно в Купцове повествователь видит своего двойника: «И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова. <...> Я начинал о чем-то догадываться. Вернее — ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта — мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же — Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. Что он — дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы — одно. Потому что так ненавидеть можно одного себя».

Так получилось, что и в целом лагерная жизнь, при всех ее аномалиях, таит в себе для лирического героя определенную привлекательность: «И вдруг ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни. По этой жизни с куревом и бранью. С гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном...»

Главные наблюдения и выводы прозвучали и в письмах, и в размышлениях лирического героя о сущности лагерной жизни, ее поразительном сходстве с тем, что происходит вне зоны — общности «лагеря и воли»: «Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации».

Одна из главных составляющих обобщенной характеристики зоны — лагерная речь: «В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое, художественно-бесцельное. <...> ...с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. <...> Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила».

Ощущение общности с окружающим миром для лирического героя Довлатова тоже необычно. С одной стороны, потому, что этот мир страшен, преступен. С другой стороны — это мир, в котором он понял и осознал себя. Исполняя вместе с зеками «Интернационал», он переживает не революционный экстаз, а объединяющее воздействие музыки: «Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение».

В следующем за этим эпизодом письме редактору Довлатов уточняет свою мысль — он «не в кунсткамеру приглашает читателя», представляет на суд не физиологические очерки о тюрьмах, а пишет «о жизни и людях».

Если говорить о своеобразии сатиры в «Зоне», то стоит подчеркнуть преобладание интонации насмешки. Именно насмешка, ирония, а не разоблачение, развенчание характеризуют авторский подход к материалу. В изображении и коллег-надзирателей, и прямых начальников, и всей лагерной системы, пожалуй, чаще всего выявляются не столько негативные стороны, сколько абсурд, нелепость. Это не позволяет всерьез говорить о происходящем, хотя и страдают, и гибнут люди именно всерьез.

Рассказывая об эстонце Пахапиле, Довлатов приводит текст его объяснительного рапорта: «Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».

Тема злоупотребления алкоголем звучит во многих эпизодах, но всякий раз автор не сбивается на разоблачительные интонации, предпочитая им насмешку. К примеру, фигурантом такого злоупотребления может оказаться козел: «Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красное, хоть белое — только наливай. И Запад тут не влияет. И прошлого вроде бы нет у козла. Он же не старый большевик...»

Пропагандистское выступление политработника дано в «обрамлении» ловли свиньи. Очевидная бессмысленность дежурных фраз не требует комментариев: «Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов, утверждая таким образом неразрывную связь поколений...» И того самого Пахапиля благодарят за инициативу, награждают, везут на торжественное собрание отличников боевой подготовки. А смысл в том, что пил он на кладбище, регулярно навещая могилу погибшего воина.

С явным удовольствием повествователь включает своеобразные «политические» диалоги, демонстрирующие «успехи» воспитательной работы:

«— Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны...

— Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!».

Выворачивание пропагандистских лозунгов сопровождается повествованием о любых сферах жизни зоны. Чего стоит издевательская «угроза» — в ситуации тяжелой физической работы: «Поживей, уркаганы! ...отстающих в коммунизм не берем! Так и будут доходить при нынешнем строе...».

Или вариант использования социалистического соревнования. Запомнившаяся повествователю фраза из социалистических обязательств: «...Сократить число лагерных убийств на двадцать шесть процентов».

Злая, ядовитая насмешка подобных эпизодов уступает место добродушной иронии. Вспомним «молитву» надзирателя по прозвищу Фидель: «Милый Бог! За что ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью... И то не каждый день... Милый Бог! Совесть есть у Тебя или нет? Если Ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски».

Разнообразны варианты иронии и насмешки в изображении патриотического спектакля к годовщине Октябрьской революции. Все началось с выбора исполнительцев. Обыгрывается само понятие «артист», зафиксированное в карточке уголовного как профессия, а обозначающее одну из его кличек: «В смысле — человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист... Какая уж там профессия! Я с колыбели — упорный вор».

Именно этот «артист» играет роль Ленина. Не менее колоритный исполнитель найден для воплощения «рыцаря без страха и упрека» Дзержинского — Цуриков, «по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него соращение малолетних».

Обыгрывает Довлатов и взятые из системы Станиславского принципы работы актера над ролью. Насмешку вызывает не неумелое их использование, а «параллель» с работой следователя:

«— Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил — не верю!..

— Менты то же самое повторяют. Не верю... Не верю... Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудака...».

Любая деталь подготовки спектакля используется для усиления насмешки, для акцентирования абсурдности ситуации: «Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус».

Не может не вызвать насмешки и принцип «уравнивания» заключенных со «всеми гражданами» в период революционных праздников: «Революционные праздники касаются всех советских граждан... Даже людей, которые временно оступились... Кого-то убили, изнасиловали, в общем, наделали шороху... партия дает этим людям возможность исправиться...».

Возникает ассоциация с финалом сатирической пьесы Маяковского «Клоп», когда размороженный Присыпкин обращался к зрителям. У Довлатова тоже к зрителям обращены слова надежды: «Кто это? Чьи это счастливые юные лица? <...> Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..»

Если учесть, кто произносит эти слова и кто сидит в зале, то сатирическая направленность изображения оказывается более чем очевидной.

В «Заповеднике» Довлатов развивает художественные принципы, опробованные в тексте «Зоны». Картинки из жизни Пушкинского заповедника и его обитателей прерываются рассказом о личных проблемах и переживаниях. Но эти личные истории вкраплены в сегодняшнюю жизнь, они по-своему дополняют художественный образ заповедника.

В рассказе о дне сегодняшнем возможен и прямой лиризм, но с долей иронии: «В этой комнате, в этой узенькой лодке, я отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни. Я принял душ, смывая щекотливый осадок Галиных хлопот, налет автобусной влажной тесноты, коросту многодневного застолья».

Воспроизводится не просто грубая реальность — место обитания для жизни и работы в заповеднике, но свое к ней отношение: «Откровенно говоря, я немного

растерялся. Сказать бы честно: «Мне это не подходит...» Но очевидно, я все-таки интеллигент. И я произнес нечто лирическое».

Насмехаясь над разного рода деятелями, подвизающимися в пушкинских местах, о самом Пушкине Довлатов пишет крайне серьезно, не позволяя себе ни ерничества, ни иронии: «Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве».

В этом тексте еще трудней, чем в «Зоне», отделить друг от друга лирическое и сатирическое начало. Лиризм связан с попытками осмысления себя, своего настоящего отношения к Пушкину, ничего общего не имеющего с «дежурным», приспособленным для туристов. Сатира и здесь претворяется, прежде всего, в насмешке, выявлении нелепостей, абсурда. Может быть, даже чаще, чем в «Зоне», насмешка направлена и в свой собственный адрес.

Та роль, которую в «Зоне» выполняли отрывки из писем, в «Заповеднике» отдана воображаемым или воспроизводимым по памяти разговорам с женой. Среди постоянных мотивов — отношение к творчеству:

«— Ты хочешь написать великую книгу? Это удастся одному из сотни миллионов!»

— Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает вознаграждение...».

Рассказ лирического героя о попытках творчества всегда ироничен, но за иронией прячется самооценка, поиски выхода, попытки «возложить на литературу ответственность за свои грехи»: «Это были странные наброски, диалоги, поиски тона. Что-то вроде конспекта с неясно очерченными фигурами и мотивами. Несчастливая любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством. Плюс, как говорил Достоевский, — оттенок высшего значения».

Повествование часто строится как разговор с самим собой. И вновь в центре оказывается слово, его смысл. Именно слово, особенности речи станут главными в характеристике хозяина комнаты:

«Речь его была сродни классической музыке, абстрактной живописи или пению щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом». В споре о перспективах эмиграции главным доводом тоже был язык: «Мой язык, мой народ, моя безумная страна».

Но, оставаясь честным перед собой, автобиографический герой все-таки «переводит стрелку» на свою нерешительность, боязнь сделать шаг в неизвестность: «В который раз мы говорили на эту тему. Я спорил, приводил какие-то доводы. Выдвигал какие-то нравственные, духовные, психологические аргументы. Пытался что-то доказать. Но при этом я знал, что все мои соображения — лживы. Дело было не в этом. Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг».

Рассказ о прожитой семейной жизни — это и рассказ о жизни в литературе. Звучат не жалобы на судьбу, обстоятельства, чиновников. Но предьявляется счет самому себе: «Формально я был полноценной творческой личностью. Фактически же пребывал на грани душевного расстройства...»

Не сумев договориться с женой, лирический герой не просто в отчаянии напивается, но фиксирует в записках процесс воздействия алкоголя, тщетность попыток примириться с собой: «Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь...» А финал повести — о грустном расставании. Но он вносит ноту надежды на встречу. Замыкается лирический круг повествования этой надеждой, словами любви, хотя герой боится поверить в реальность встречи:

«Я даже не спросил — где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай — это и есть место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека...»

В «Заповеднике» Довлатов не жалеет сатирических красок в изображении того, как «преподносят» Пушкина многочисленным туристам. С очевидной насмешкой он пишет и о содержании методичек, и о самих экскурсоводах, и об «использовании» стихов в пропагандистских целях: «Вдумайтесь, товарищи!.. «Я вас любил так искренне, так нежно...» Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия...»

Повествователь не отказывает себе в удовольствии лишний раз отметить наигранный пафос, найти снижающую деталь:

«— Тут все живет и дышит Пушкиным, — сказала Галя, — буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...»

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач».

Бесконечные изображения Пушкина вписываются в общий принцип «малевания» великих: «Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью “Огнеопасно”. Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно. Я давно заметил: у наших художников имеются любимые объекты, где нет предела размаху и вдохновению. Это в первую очередь — борода Карла Маркса и лоб Ильича».

Сама любовь к Пушкину из естественной, человеческой становится чисто внешней: «Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой». Все служащие заповедника, как замечает повествователь, считали Пушкина как бы своей «коллективной собственностью», «обожаемым возлюбленным».

Подобных примеров в тексте много. Уже приведенных вполне достаточно, чтобы утверждать, что лирическое и сатирическое начало в произведениях Довлатова сосуществуют вне зависимости от сюжетной основы.

В самых мрачных эпизодах обнаруживаются глубоко личные переживания автобиографического героя.

Сатирические приемы Довлатова нельзя определить как развенчание, разоблачение.

Писатель и его герой предпочитают едкую насмешку, в том числе и над собой, по поводу абсурдности ситуации, выхолащивания речи, нелепых поступков.

